

**ОТ ДРАНСИ
ДО АУШВИЦА**

**В ПАМЯТЬ О МОИХ ДРУЗЬЯХ,
ПОГИБШИХ ИЛИ ПРОПАВШИХ В ДЕПОРТАЦИИ**

André BAUR, его жена и
четверо детей
BELLIGREANU
Waldemar BERGER
Françoise BERNHEIM
Raymond BERR
BILTZ
Doctoresse BLASS
Rabbin BLOCH, его жена
и дочурка
Jean-Charles BLOCH
Pier BLOCH
René BLUM
M-me BLUM и ее дочери
Annette и Lise
BRAININE
Arthur BRONSTEIN
Rose ШАРОСНИК
Simon СОНЕН и его сын
Michel
Moïse DOVIN
Irène ELBAZ
Dr. ELBERG
Simon EINOCH
Fanny EVSHEREFF
Dr. FEIGENBERG с дочкой
Annie
Jacques FELDBAU

Dr. Foy
Margueritte FRANCFORD
Ilija FUNDAMINSKY
Marie GARFUNKEL и двое ее
детей
Lioubov GAVRONSKY
Rabbin GUINSBURGER
Janine GODCHAU
Grégoire GOLDRINE
Jacques ГОТКОВСКИЙ, его
мать и сестра
Maurice HAUSER
Colette HECKER-DACOSTA
и ее дочурка Josette
Georges HELLBRONNER
Olga HODASSEVITCH
Lucien ISRAEL
Élizabeth KANNEGUISSE
Dora KAPLAN
Arman KATZ и его жена
Paulette
KLEINER
R.P. Dimitri KLÉPININE
Israel KOGAN
KRUMENZADIK
Marcel LATTES
Christian LAZARD
Pierre LAZARUS

LECZYNSKI
Armand LEDER, его жена и
их дочь NICOLLE
Jean LÉON
Paul LÉON
Philippe LEVI-ARTURO
Odette LÉVY
Walter LÉVY
Dr. William LÉVY, его жена и
их дочурка Fabienne
Thérèse LÉVY-CAEN
Dr. LÉVY-COBLENTS и его
жена
LIACHOVSKY и его жена
Jouri LOURIE и его жена
Marie
Ketty MALMOUD
Jouri MANDELSTAM
Pierre MASSE
Roger MASSE
MARGOULIS
Marcel MARTER
Jean MAYER
François MONTEL
Léon MOSÈS
Fernand MUSNIK
Dr. Albert NAVARRO, его
жена и трое детей
OLSTEIN и его жена
Gérard и Jean-Louis
ORPENHEIMER
Dr. PECKER
Marcel PINTEL
PODOLSKY
David POLITI

RABINOVITCH (Ritch)
Jacques RAFFAEL
Sarah RAJCYN и ее дочь
Nina
David RAPPOPORT и его
жена Rebecca
Alexandre ROSOVSKY и его
жена Tamara
Margueritte SAMUEL
Dr. SAZIAS
Dr. SCHMIERGUEL
Grégoire SÉGAL и его дети
Ida и Jacques
Henri SICORA, его жена
и сын
Pierre SIROTA
Marcel STORA и его жена
Yvonne
M-me SZYRGIK и ее
младенец сын
ТОСКМАН и его жена
Henri VALENSI
WALK
Ladislav WADASZ
Remy WEIL
Roger WEIL
Alfred WEINBERG
Jacques WEISBREM и его
жена Anna
Dr. WITTMANN
Marc WOLFSON и его жена
Erna
Albert ULMO
ZOELLER

Жорж Веллер

ОТ АВТОРА

Нам довелось близко познакомиться с необычным феноменом нашей печальной эпохи, с неистовством человеческой мерзости в чистом виде, которое проявилось в преследовании евреев.

Обстоятельствам было угодно, чтобы мы почти два с половиной года жили в трагической реальности лагеря Дранси. Потом ещё около года мы познавали кошмары Аушвица и Бухенвальда. Наши наблюдения основаны на опыте, полученном во Франции и в Германии.

Мы могли воспользоваться советами и заметками некоторых товарищей по заключению. Мы можем также надеяться, что наша работа не содержит ни серьёзных ошибок, ни пропусков, ни несправедливых оценок. Мы благодарим, в частности, г-на Жака Фонсека, нашего товарища по заключению, верные и объективные суждения которого не были до сих пор оценены по достоинству, а также мадам Жаннетту Ано и Антуанетту Нельсон, и г-на Габриеля Ажи.

Когда писались нижеследующие страницы, основной нашей заботой была точность, единственным вдохновением — память о наших несчастных лагерных товарищах, единственным нашим желанием — чтобы события, столь печальные и позорные, не могли повториться больше никогда.

*Жорж Веллер
Париж, октябрь 1946 года*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дранси, пролог к Аушвицу

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Экклезиаст, 9, 11–12

Глава первая

ДРАНСИ ПРИ ДАННЕКЕРЕ

(20 августа 1941 — 1 июля 1942)

Облик лагеря. — 20 августа 1941. — Административная структура лагеря. — Жизнь в лагере (август-декабрь 1941). — Первая отправка; заложники. — Депортации апреля-июня 1942. — Лагерная атмосфера во время депортаций. — Лагерная атмосфера между депортациями. — Духовные интересы. — Жёлтая звезда и «Друзья евреев».



История лагеря Дранси начинается 20 августа 1941 года. Это местечко под Парижем и прежде служило местом заключения, но лишь время от времени, и без специального назначения. Так, осенью 1940 года немцы загнали туда французских военнопленных, прежде чем отправить их дальше. Позднее там провели несколько недель интернированные англичане, которых сменили военнопленные и интернированные югославы и греки. Это короткое пребывание людей, защищенных законами военного времени, оказалось незначительным эпизодом по сравнению с тем, чем стал Дранси с 20 августа 1941 года и оставался до 17 августа 1944. Можно совершенно достоверно считать началом и концом существования лагеря именно эти даты.

За время своего существования Дранси принял более 70 000 постояльцев: женщин, мужчин, детей, стариков. Он видел рождение десятков детей и смерть нескольких сотен людей всех возрастов. Он служил сценой для бесчисленных трагедий,

которые часто потрясали воображение свидетеля. Сам факт, что из 70 000 людей, побывавших в Дранси, в живых к моменту освобождения осталось всего 1467, показывает грандиозный объём того, что происходило на этой маленькой территории.

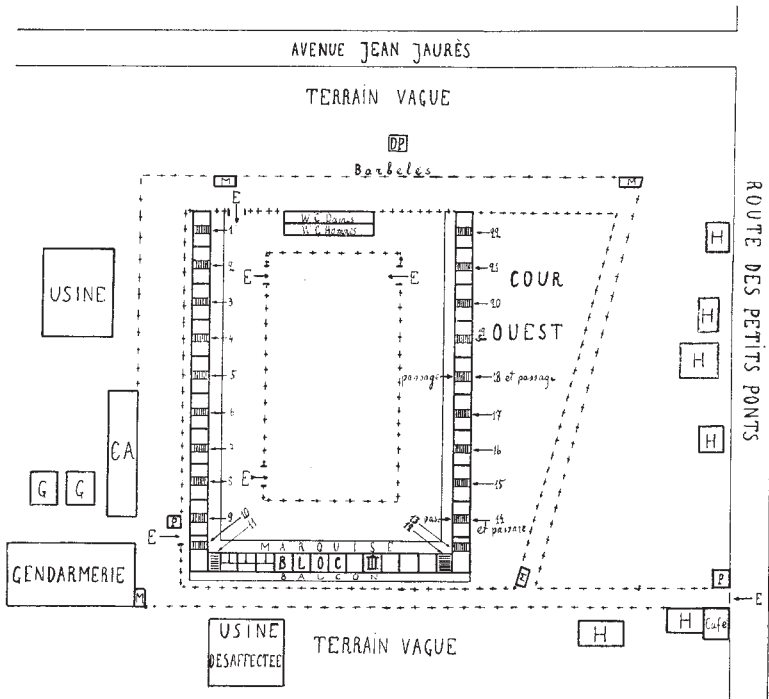
Лагерь целиком был расположен в коммуне Дранси и сразу заметен, благодаря пяти небоскрегам, хорошо известным в округе. Небоскребы были видны издали, но никогда не служили местом заключения в собственном смысле слова. А здание лагеря находилось прямо рядом, и вдоль дороги на Пти-Пон виден был только один его фасад.

Это было длинное четырехэтажное строение в виде буквы П. Пространство между двумя ножками этого здания занимал двор, примерно двести метров в длину и сорок в ширину. Ножки были ориентированы с Севера на Юг. Южная сторона П была открыта, и со двора легко можно было видеть улицу. Северная сторона была перекрыта перпендикулярным зданием. Всё это было обнесено двойным поясом колючей проволоки, с наблюдательными вышками по четырем углам. Между двумя рядами колючей проволоки проходила дорожка.

Строительство зданий не было завершено. Вероятно, предполагалось построить там и продавать небольшие квартиры. Однако работы остановили, и на каждом этаже были выстроены только ряды комнат довольно фантастической формы: более широкие к краям и достаточно узкие в середине. При длине в двадцать метров ширина по краям составляла от семи до восьми метров, а в середине не более трех. Цементный пол был неровным, не прикрытые канализационные трубы окаймляли с двух противоположных концов эти странные комнаты. Два больших радиатора должны были обеспечивать отопление. В каждой комнате был установлен кран, пускавший воду в семь наклонных трубок, через которые она текла в длинную деревянную колоду, обшитую оцинкованной жстью. Если кран открыть, вода начинает одновременно течь из всех семи трубок. При этом колода располагается достаточно низко, а наклонные трубки достаточно высоко, и семь водопадов обильно орошают пространство и перед колодой и за ней, и оно постоянно мокрое. Стены цементные, а рамы больших окон скользят по пазам вдоль стен. Между стеной и окном есть щели, сквозь которые гуляет ветер.

Из каждой комнаты на лестничную площадку выходит только одна дверь. Лестница узкая, ступеньки высокие и неудобные.

PLAN SCHEMATIQUE DU CAMP DE DRANCY



G — Высотный дом

CA — «Арийская» комендатура

M — Вышка

E — Вход

P — Полицейский Пост

H — Жилые дома

1 — Лестница № 1

Avenue Jean Jaures — Авеню Жана Жореса

Terrain vague — Пустырь

Barbeles — Колночая проволока

Usine — Завод

Gendarmerie — Жандармерия

Usine desaffectee — Зброшенный завод

Route des Petit Ponts — Дорога Петит Понтс

Cour Ouest — Западный двор

W. C. Dames — Туалет женский

W. C. Homes — Туалет мужской

Marquise — Навес

Bloc 3 — Блок 3

Balcon — Балкон

Железные перила не закончены. Одна лестница служит выходом во двор для четырех комнат на четырех этажах. В каждой из двух ножек здания находится по десять таких лестниц.

На лагерном языке здание, перпендикулярное к ножкам, называется блок-три. Оно тоже четырехэтажное с двумя лестницами, по одной с каждого края. Одна находится прямо рядом с северной оконечностью восточной ножки, а другая — рядом с северной оконечностью западной. Одна из них широкая, удобная и почти законченная. На каждом этаже длинный балкон вдоль внешнего фасада связывает эти лестницы. Интерьер в третьем блоке более совершенный, чем в боковых частях здания. На каждом этаже есть маленькие комнаты, некоторые даже с терразитовыми полами, а стены выкрашены в белый цвет или побелены известью, есть настоящие туалеты, а некоторые даже с раковинами и настоящими кранами. Другие комнаты напоминают помещения боковых корпусов в миниатюре: неровный цементный пол, открыто проложенные трубы, колода с краном, который управляет сразу тремя или пятью водяными фонтанчиками.

Во всех жилых помещениях стоят двухъярусные деревянные кровати. Эти кровати нельзя пронести по узкой лестнице, и их поднимают или спускают через окна на веревках. На каждой кровати лежат перьевые тюфяки. Их никогда не чистят, приводят в порядок весьма редко и небрежно, и они быстро становятся отвратительно грязными. Несколько маленьких складных столиков, две или три скамьи, несколько табуреток и обычно большой деревянный стол дополняют меблировку. Никаких шкафов и стеллажей: они были запрещены.

Двор был засыпан шлаком, и малейший летний ветерок поднимал густые черные облака, а зимой там возникали большие грязные лужи. Во второй половине 1943 года капитан СС и великий строитель Бруннер (гауптштурмфюрер Алоиз Бруннер — один из главных соратников Эйхмана — *прим. ред.*) полностью зацементировал двор и проложил специальную дорогу для автомобилей. Посреди двора был участок, огражденный колючей проволокой, который до 16 июля 1942 года служил местом прогулок заключенных, а позднее использовался для сбора депортируемых и вновь прибывающих заключенных. Бруннер ликвидировал колючую проволоку и сделал на этом месте лужайку.

На уровне первого этажа вдоль всего внутреннего фасада тянется навес над открытой галереей, об его железные прутья и будут разбиваться отчаявшиеся люди, которые выбросятся с четвертого этажа. Южная оконечность двора перекрыта длинным кирпичным строением, параллельным блоку-три. Это туалет, называемый на лагерном жаргоне Шато Руж (Красный Дворец). В сентябре к единственному Шато Руж прибавилось ещё одно подобное строение. Было время, когда эти два Красных Дворца с трудом удовлетворяли потребности лагеря.

Задняя сторона восточного крыла выходит на пустырь, который называли «восточным двором». Он будет детской площадкой, а во времена Бруннера именно там станут собирать депортируемых.

«Арийская» Комендатура, Полицейское Управление и Жандармерия находятся по другую сторону от западного крыла, в пристройках к лагерному каре. Некоторые из жандармов жили в небоскрёбах, вне лагеря.

В начале 1942 года лагерь был захвачен бесчисленными клопами и множеством блох. Они появлялись из деревянных кроватей и из трещин в стенах, они дождем падали с потолков. Часто новенькие в течение первых десяти-двенадцати дней пребывания в лагере бывали полностью изуродованы укусами тысяч клопов. Иногда людей с трудом можно было узнать. Постепенно заключенные привыкали к этой фауне, и укусы не оставляли больше следов.

Все здания построены над глубокими подвалами. Часть из них использовали как карцеры для «тяжких преступников». Их часто держали там сутками в темноте, одиночестве и без одежды. В 1943–44 годах правая рука Бруннера, «боксёр» Брюклер частенько спускался туда для свершения святого дела правосудия. Именно из подвалов под восточным крылом в ноябре 1943 года была предпринята неудачная попытка прорыть длинный туннель для побега.

Такова была общая картина лагеря.

* * *

В октябре 1940 года всем евреям в оккупированной зоне предложили явиться в полицейские комиссариаты, где у них выяснили имена и адреса. Маленьких детей должны были зарегистри-

стрировать их родители. Весной 1941 года все были обязаны снова придти в Префектуру полиции для новой проверки, а позднее им всем в удостоверениях личности поставили штамп «ЕВРЕЙ». Ничего хорошего все эти меры не предвещали, однако почти все, кого это касалось, подчинились полученным указаниям. Одних подтолкнул страх перед наказанием, других — боязнь проявить малодушие. Но и те и другие, успокоенные декларациями маршала Петэна (Филипп Петэн — глава коллаборационистского правительства Виши — *прим. ред.*) и адмирала Дарлана (Франсуа Дарлан — один из лидеров вишистского режима — *прим. ред.*), верили в защиту от произвола и пытались жить по закону. Кроме того, все были убеждены, что какие-то меры могут быть применены только к мужчинам: в XX веке, в одной из наиболее цивилизованных стран континента нельзя было допустить всерьёз возможность тяжких испытаний для женщин, детей или стариков, которые строго соблюдают законы. И чтобы предоставить им эту возможность спастись, мужчинам очень даже стоило подвергнуться некоторому риску, который, — ну, Боже мой! — вовсе не казался смертельным.

20 августа 1941 года парижская полиция провела первую облаву на евреев. Были оцеплены 11-й и 12-й округ, останавливали всех мужчин, французов и иностранцев, моложе шестидесяти лет, в домах, на улицах, в магазинах и задерживали всех, у кого в удостоверении личности стоял штамп «ЕВРЕЙ». Так было арестовано 5000 человек. К этому следует прибавить ещё 12 членов парижской коллегии адвокатов, арестованных отдельно, во Дворце Правосудия, в связи с их видным положением. Все арестованные были доставлены в Дранси. Они и стали основателями лагеря.

Сам лагерь совершенно не был готов к их приёму. В помещениях не было кроватей и матрасов. Кухни не работали. Не было ни одеял, ни котелков, ни ложек. Люди по мере поступления заполняли комнаты и кое-как устраивались на неровном полу. Хотя кое-что всё-таки было приготовлено заранее — правила! Эти правила — произведение Даннеккера (Теодор Даннекер — сотрудник Эйхмана — *прим. ред.*), главы антиеврейской немецкой администрации во Франции, но подписанные адмиралом Баром, префектом полиции и генералом парижской жандармерии, — запрещали любые контакты между заключёнными и жандармами, запрещали заключённым выходить из комнат

в любое время, кроме времени прогулки, запрещали переписку и посылки, запрещали курить и смотреть в окна, когда Даннеккер приезжал в лагерь. Хозяин прогуливался по пустынному двору и грозил револьвером, если он замечал за окнами испуганные лица любопытных.

* * *

Лагерь был во власти всемогущего Даннеккера. Для формы комендантом был сделан французский чиновник. Назначенный Префектурой Полиции, он соблюдал и выполнял все условия, продиктованные Даннеккером. Внешняя охрана и внутреннее наблюдение были доверены отряду жандармов. Группа инспекторов из судебной полиции завела и хранила личные, весьма краткие, карточки на каждого заключенного. С октября в лагере создали специальную службу, так называемое «Бюро личного состава». Работники этой службы, выбранные из заключенных, под неусыпным наблюдением полицейских инспекторов собирали и хранили картотеку. Одновременно создали и другие бюро, которые были доверены еврейской администрации: «Военное бюро», которое аттестовало ветеранов, а позднее — жен заключенных. Когда разрешили переписку, потребовалось бюро «Раздачи писем», которым руководил жандарм с заместителем из заключенных. Организовали ещё одну службу — продуктовых и бельевых посылок. Врачи и медсестры обеспечивали медицинскую службу под руководством и наблюдением «арийского» врача, присланного Префектурой Полиции. Руководителем кухонь, складов инвентаря, цехов, в которых работали заключенные, был эконом, назначенный Префектурой Полиции. Социальная служба занималась тем, что поддерживала контакты с Всеобщим Объединением Евреев Франции (В.О.Е.Ф.). Эта организация была создана немцами в конце 1941 года со скрытой целью облегчить захват евреев и их имущества. Намерения были очевидны, и организация эта не вызывала никакого доверия у заинтересованных лиц. Но она была единственной легальной, признаваемой немцами организацией, сохраняла хоть какие-то отношения с ними, и, по мере того как усиливался немецкий гнет, всё большее количество людей вынуждено было прибегать к материальной или моральной поддержке В.О.Е.Ф. Социальная Служба в Дранси нагружала

службы В.О.Е.Ф. многочисленными поручениями заключенных, и до середины августа 1942 года представительница В.О.Е.Ф. ежедневно приезжала в лагерь. Она же осуществляла связь лагеря с внешним миром.

Номинально вся еврейская администрация лагеря подчинялась старосте, назначенному французским комендантом лагеря.

Такова была административная структура, и участие заключенных в ней развивалось очень медленно.

* * *

Первой заботой заключенного было связаться со своими: многих схватили так, что их семьи ничего не знали об их исчезновении, и каждый спешил успокоить своих. А так как нормальных способов для этого не было, жандармы по доброй воле брали на себя поручения к семьям. Отправляли несколько слов и ждали «своего» жандарма, который, возвращаясь, приносил ответ, а иногда даже посылочку. Эта забота полностью поглощала сознание. О жандармах судили, в основном, по тому, как они брались исполнить поручение, а о товарищах по тому, насколько охотно они помогали вам найти «хорошего» жандарма. В конечном счёте, только немногие могли и умели воспользоваться этими опасными связями. Комендант лагеря, после свирепых приказов Даннеккера, быстро стал принимать ответные меры и против жандармов, и против заключенных в виде дисциплинарных взысканий, и к середине сентября связь с внешним миром была почти полностью прервана.

Лагерная жизнь налаживалась. На третий день стали выдавать суп, кофе и 250 гр. хлеба. Суп не имел никакой питательной ценности, тем не менее, его поглощали с жадностью; голодные люди настойчиво его требовали, и распределение остатков вызывало порой общее волнение. То же самое происходило при раздаче хлеба: приходилось взвешивать каждую седьмую часть буханки, чтобы тщательно уравновесить все порции. Ощущение голода было очень сильным. В один из октябрьских дней, заключенные, доведенные голодом до крайности, устроили настоящую демонстрацию протеста против хозяйственной части, скандируя хором после утренней переключки: «Хотим есть! Хотим есть!»

У всё большего числа заключенных проявлялась слабость, и голодные отёки ног появлялись всё чаще. В начале ноября заключенные в особенно тяжелом состоянии были обследованы врачом из Префектуры, и в течение первой недели примерно восемьсот человек были освобождены по состоянию здоровья. Счастлирое время, когда состояние здоровья могло стать поводом для освобождения еврея!

Начиная с этого времени, были разрешены переписка и посылки. Можно было отправлять две открытки в месяц и столько же получать. Раз в неделю можно было получить продовольственную посылку весом не более трех килограммов, а раз в пятнадцать дней — посылку с бельём, и одну с грязным бельём отослать семье. Запрещено было получать табак, спиртные напитки, лекарства и писчую бумагу. В бельевых посылках разрешалось получать книги, за исключением произведений, запрещенных к продаже, и всего, что имеет отношение к политике. Однако книги по истории были разрешены.

Обшаривали посылки строго, порой злобно: жандармы протыкали ножами коробочки с джемом и ломали на куски хлеб в поисках контрабанды.

Постепенно стали появляться деревянные кровати. Их размещали в комнатах самым фантастическим образом, следуя неровностям пола. Тюфяки из перьев были хорошего качества, и это всех удивляло. Одновременно с кроватями в комнатах поставили деревянные столы, маленькие складные столики, несколько скамеек и табуреток. С наступлением холодов начало работать отопление, которое обеспечивало необходимый минимум тепла. Лагерь становился жилым.

День начинался в шесть утра ударом гонга, который возвещал подъём и раздачу кофе в кухне. В семь утра свисток призывал всех во двор на переключку. Эта переключка продолжалась примерно час, но несколько раз — два и дольше. Начиная с ноября, из-за плохой погоды переключку проводили в комнатах. После переключки обитатели каждого блока совершали получасовую прогулку посреди двора между рядами колючей проволоки. У каждого блока было своё время. Соблюдение этих сроков было не очень строгим, и любители выходили на прогулку в разное время, смешиваясь с обитателями других блоков. К 11 часам выдавали хлеб. В полдень кухня раздавала суп. К восемнадцати часам новый удар гонга созывал дежурных от каждой группы

в кухню за вторым супом. К 9 часам вечера всем надлежало находиться в постели.

* * *

Такая монотонная жизнь продолжалась, примерно, месяца три. 12 декабря к шести вечера в лагерь прибыл Даннекер. Всех моментально вызвали во двор. Каждый должен был спуститься с вещами. Встревоженные жандармы выталкивали наружу растерянных людей кулаками и ногами, поторапливая их, и устроили невероятную сутолоку. Когда все оказались во дворе, Даннекер выбрал триста человек, которых немедленно забрали из лагеря с вещами. Успокоившись после первого потрясения, лагерь погрузился в мрачное уныние. По общему мнению, 300 отобранных товарищей, оказались заложниками, и им придется расплатиться жизнью за объявленное 11-го вечером вступление Америки в войну.

Через два дня, в воскресенье 14 декабря, к 10 утра в лагерь прибыл отряд Вермахта со списком из пятидесяти имен. В лагере оказалось только 47 из 50, разыскиваемых немцами; остальные были либо освобождены раньше, как тяжело больные, либо умерли. 47 человек, оказавшихся в наличии, немцы увели с вещами.

Во второй половине того же дня в лагере появился ординарец Даннекера унтер-офицер Хайнрихсон с несколькими эсэсовцами и увел с собой ещё десяток заключенных, которых считали «важными персонами», и среди них адвокатов Пьера Массы, Альбера Ульмо и Поля Леона.

Только гораздо позднее мы узнали, что триста товарищей и десяток «важных персон» были не расстреляны, а отправлены в Компьень вместе с 750 другими французскими евреями, арестованными в Париже. Судьба большинства из них лучше от этого не стала. Те, кто не умер в Компьене от голода и холода, были депортированы 27 марта 1942 года и погибли в Аушвице, за исключением 4–5 человек. Немногие пожилые люди вернулись в Дранси 19 марта 1942 года, и в течение 1942–43 годов были депортированы.

Все 47 человек из списка Вермахта были расстреляны 15 декабря в Мон-Валерьене вместе с 50 другими евреями из тюрьмы Френ. Об этом мы узнали в тот же день от одного из них, чудом избежавшего казни. Всех 47 отвели в Санте, где им объявили,

что завтра они будут расстреляны как «жидо-коммунисты». Вечером им позволили написать письма семьям и досыта накормили тушеной капустой. И тут немцы заметили «ошибку»: дата рождения у одного из 47 не совпадала с той, которая была указана в их списке. Жертву этой ошибки вернули в Дранси и заменили его тезкой, чья дата рождения была в списке. Тот был доставлен в Санте и разделил участь товарищей.

В конце января 1942 года Даннекеру понадобились добровольцы для сельскохозяйственных работ в Северной Франции. Он посулил им хорошее питание, удобное жильё и жалование. Вызвалось пятьдесят молодых мужчин, которые после медосмотра покинули Дранси. Позднее выяснилось, что их тоже отправили в Компьень, где они разделили судьбу товарищей: после двух месяцев голода и холода 27 марта их депортировали в Аушвиц. В тот же день ещё 500 человек покинуло Дранси. На вокзале в Компьене их погрузили в вагоны, поезд пополнили ещё 550 узниками этого лагеря, и всех депортировали в Аушвиц. Это была первая депортация евреев из Франции.

* * *

29 апреля 1942 года лагерь вновь пережил тоскливые часы: была намечена новая депортация 500 человек. Стало известно, что их депортируют не сразу, а сначала доставят в Компьень, где к ним добавят ещё 1000 узников из лагерей Питивер и Бон-ла-Роланд. Их путь в Аушвиц начался только 5 июня. Для еврея это почти всегда был путь без надежды на возвращение.

Вот как в тот период осуществлялась депортация.

За два-три дня до намеченного срока Бюро личного состава вывешивало список из 1000 имен. При выборе жертв учитывалось состояние здоровья, и те, кого «арийская» лагерная медицина считала неспособными к труду, исключались. Медицинский осмотр проходил быстро, поверхностно, с многочисленными ошибками, но всё-таки он был некоторой гарантией здоровья группы. Начиная с депортации 23 июня 1942 года, были исключены из списков на депортацию также и «арийские мужья».

Затем в какой-то мере учитывалась национальность. Иностранцев выбирали скорее, чем французов; получивших французское гражданство — скорее, чем рожденных во Франции, и старались прикрыть ветеранов и лагерных служащих. Все

эти различия были работой интернированных «чиновников», их в какой-то мере утверждали инспекторы полиции и не признавали немцы. Некоторые категории, например, ветераны войны 1939–40 годов, были недостаточно четко определены; среди иностранцев были несомненные ветераны, тот или иной лагерный служащий одним казался необходимым, а другим — бесполезным, так что главную роль в таком выборе играл произвол. Более того, полицейские инспекторы какие-то имена вычеркивали из списков или добавляли в них, не объясняя причин. Приказы о депортации приходили неожиданно, и списки составлялись в спешке и суете.

В этот период во всём лагере царило возбуждение. Одни старались напомнить о своих «правах», всегда ненадёжных, другие — о своих никому не нужных заслугах, третьи задолго до того искали защиты у инспектора полиции, жандарма или у кого-то извне, кто мог бы с пользой для него «подцепить» немца.

Люди были напряжены до предела, проявляя при этом энергию, сообразительность и ловкость. Надежда и разочарование сменяли друг друга быстро и без переходов, глухое отчаяние опускалось на унылый квадрат лагеря.

Наконец, списки вывешивались, с той оговоркой, что они могут изменяться до последней минуты, и те, кого это касалось, оповещались старостами блоков. В каждой комнате оповещение старосты слушали с тоской: одни горевали о себе, другие — о друзьях, третьи — об общем будущем.

Интересно, что почти сразу после оглашения списков нервное напряжение резко спадало. После окончательного решения, названные мужественно представляли себе свое будущее и были погружены во множество забот, связанных с близким отъездом; остальные подбадривали их, часто с искренней убежденностью, или утешали, взывая к неизбежности судьбы: «Сегодня ты, старина, а следующая очередь — моя. Все там будем!», и все торопились оказать им любую услугу: уложить вещи, переслать семье что-то ценное или бесполезное, предупредить друга, помочь спрятать деньги, карандаш или нож, уступить немного еды. Братство казалось невероятным и трогательным, но всегда с непреодолимой печалью и горечью в глубине души.

На следующий день с семи утра начинался ритуал. По вызову старосты блока каждый депортируемый спускался без вещей

во двор, в центре которого между рядами колючей проволоки его ждала команда парикмахеров-заключенных, ему стригли голову, бороду и усы. От любого дуновения ветра черная шлаковая пыль, смешанная с седыми, черными и светлыми волосами, уносилась дальше по двору, на навесы и в комнаты. К полудню и парикмахеры и их машинки проявляли усталость, а к вечеру руки утрачивали гибкость, и машинки свирепо вырывали кло-чья волос.

После прохождения «салона причесок» каждый поднимался в свою комнату и ждал вызова старосты блока. По этому вызову он с вещами спускался в барак досмотра, а прямо оттуда попадал на лестницу отбытия, и уже никогда не мог ни вернуться в привычную комнату, ни увидеть товарищей.

Последнее прощание происходило быстро, словно ускоряемое застенчивостью одних и тайным стыдом других. Уезжающие пожимали руки остающимся, продвигаясь к двери, у которой их ждал староста блока. С обеих сторон повторялись одни и те же фразы: «Ну, это ненадолго!» «Держись, через три месяца мы будем стеречь бошей в Дранси!» Порой останавливались перед близким родственником или личным другом, задерживали его руку в своей и после мгновенного колебания обнимались. Депортируемый продолжал свой путь к дверям вдоль протянутых ладоней, а родственник или друг оставался неподвижным, с глазами, полными слёз.

Досмотр в ту пору проводился группой полицейских инспекторов. Инструкции запрещали депортируемому иметь при себе больше одного чемодана в руках и котомки с едой, или заплечного мешка и котомки с едой. Одежда входила в счет. Запрещалось иметь деньги, ценные вещи, инструменты и режущие предметы. Писчая бумага, авторучки, карандаши и наркотики тоже были запрещены. Жесткость применения этой инструкции доходила до абсурда: иголки, булавки, карманные зеркальца, металлические баночки консервов и тюбики аспирина, мелочи из стекла и металла изымались, как «режущие предметы».

Хинин и болеутоляющие лекарства оказывались «наркотическими средствами»; туалетную бумагу могли счесть писчей и не пропустить, обычные часы — объявить серебряными и забрать, а открывалку для консервов могли счесть либо инструментом, либо режущим предметом.

Пятнадцать минут досмотра были очень скверным временем. Входя в барак, узник оказывался лицом к лицу с инспектором, который грубо толкал его, мигом перерезал драгоценную веревку, связывающую одеяло и заплечный мешок, вываливал на стол содержимое мешка, быстро прощупывал каждую вещь, роняя на истоптанный пол носовые платки и кальсоны, в той же куче оказывалось и содержимое пищевой котомки, потом он выворачивал все карманы, прощупывал плечи куртки, пояс и низ брюк, частенько приказывал разуться и без малейших объяснений отбрасывал в большой ящик вещи, которые «не проходят». Наконец он отпускал свою жертву — «мотай отсюда, и поживей», — и безо всякого перехода вызывал следующего, таким образом, что предыдущий оказывался вытолкнутым и досмотрщиком и своим же товарищем. Досмотренный делал единственное, что ему оставалось: подбирал, как попало, свои нищенские сокровища и появлялся у выхода из барака в расстегнутой одежде с вывернутыми карманами, в незашнурованной обуви, прижимая к груди кучу одежды и белья с выдавленным на них тюбиком зубной пасты и ваксой, вылезшей из коробочки, с которой сняли крышку.

Если ему везло, то у него оставалось несколько минут, пока он ждал товарищей, которых жандармы собирали в десятки у лестницы отбытия. Он использовал эти минуты, чтоб навести хоть какой-то порядок в своем несчастном чемодане. Но если он был девятым или десятым, то часто вынужден был пересечь двор, не уложив свои пожитки, и с большим риском потерять какую-нибудь драгоценность с самых первых шагов депортации.

Между двумя депортациями лестница отбытия пустовала. Она была такой же, как все остальные, только более грязной и зловонной. Воздух комнат был насыщен застаревшими и пронзительными запахами. Несколько тюфяков, предназначенных из-за их плачевного состояния для этапируемых, украшали полуразвалившиеся кровати. Клопов в них было меньше, но и те были голодными из-за периодических постов, когда заключенных не было.

На каждой лестнице отбытия постоянно дежурил жандарм, который преграждал выход депортируемым и вход остальным заключенным, за исключением старосты блока и обслуживающего персонала со специальным разрешением. Несколько жандармов охраняли прилегающую к лестнице территорию,

ДРАНСИ 1942



Депортация.
Депортируемые покидают барак досмотра и между двумя рядами колючей проволоки направляются к лестнице отъезда.



Депортация.
Депортируемые заперты на лестницах отъезда № 1, 2 и 3.



После депортации.
«Запасные» заключенные покидают двор, чтобы вернуться в блок 7.

Фотографии сделаны скрытой камерой, тайно от немцев
Коллекция М. Г. Коон

хождение по которой строго запрещалось. Время от времени двери этих лестниц открывались на несколько минут, чтобы дать возможность отправиться в «Красный Дворец» тем, кому приспичило.

В течение дня лестницы отбытия были постоянно заполнены, и как только все этажи одной лестницы заполнялись, процесс переходил к другой. В каждой комнате находилось около 50 человек. Первой заботой вошедших был поиск уголка получше и почище, затем окончательная укладка вещей и более тесное знакомство с соседями. Каждый комментировал досмотр, беспокоился о качестве предстоящей еды, обсуждал возможные трудности пути. Разговоры велись в дружеском, вежливом, спокойном тоне, иногда веселом и всегда оптимистичном, потому что в ту пору депортируемый верил в свои физические и нравственные силы, в близкий конец гитлеризма, в возможность существования в «трудовых лагерях» в Германии, и не очень тревожился о своих близких: «Что произойдет, если даже немцы захотят... Никакое французское правительство не позволит тронуть женщин, детей, стариков и инвалидов!» Это было абсолютно всеобщим убеждением и не подлежало обсуждению.

В полдень и в 6 часов вечера приносили суп обычно лучший, чем для всех остальных. Вечером раздавали легкую еду на дорожку: большой сэндвич с паштетом или сыром. Затем евреи, работающие в бюро раздачи писем, входили во все комнаты и вручали каждому открытку. Спустя час они же собирали эти исписанные открытки с последним «прости» семьям уезжающих. Эти загробные послания, написанные карандашом, а реже чернилами, демонстрировали одну из многочисленных лагерных нелепостей: раздачу открыток людям, которым правила запрещали иметь карандаши и авторучки. Открытки писались карандашами и ручками, припрятанными во время обыска по пути в эти комнаты; три или четыре карандаша могли быть спрятанными где-то, вместе с тремя-четырьмя ножами. Потому что, если трудно скрыть от враждебного досмотрщика пару обуви или ящик консервов, то не так уж сложно спасти от него карандаш или нож. Жандарм, распределяющий почту, по-видимому, разделял это убеждение. Так и проходил этот день, мучительные мгновения которого отражались в открытке семье, написанной на спине соседа карандашом ловкого товарища, рядом с другом, который ждал того же карандаша. Писали не-

сколькo нежных слов, несколько слов, полных глубокого и искреннего оптимизма, несколько рекомендаций детям, короткий совет жене немножко потерпеть, потому что ничего другого не остается, и завершалось письмо надеждой вскоре сообщить о себе и сообщить что-то хорошее. Это были последние осязаемые признаки жизни, подаваемые депортированным евреем, потому что для еврея депортация — это смерть, почти верная и быстрая. Но он не знал этого, а семья — тем более. И это было к лучшему.

Вечер проходит в оживленной беседе, прерываемой добрыми шутками; поют хором, передают новости о последних поражениях немцев в России (в то время, увы, почти всегда воображаемыми) и мужество людей удивительно, а оптимизм непоколебим.

Идет время, и тут и там начинают готовиться ко сну. Разговор становится менее оживленным и мало помалу вовсе замирает. И в разобщенности этой последней ночи во Франции, в комнате, едва освещенной ночником, можно услышать глубокий вздох, а потом шум, производимый товарищем, который всё время вертится на своем месте; нервные и раздражающие шаги других, которые не в состоянии успокоиться; увидеть, что кто-то сидит на земле, уронив голову на руки, и осязаемо почувствовать, что крепкий дневной оптимизм бледнеет, а тревога о семье растет ежеминутно, горечь и печаль молчаливо проникают в душу. Так проходит ночь.

На рассвете, еще до того, как гонг разбудит лагерь, появляется староста блока с помощником и будят всех. Вытянутые лица, тусклые взгляды, медленные, неловкие движения. Люди умываются посреди комнаты. Другие спешат на короткую прогулку в «Красный Дворец», третьи организуют команду, которая выходит на участок, тщательно охраняемый жандармами, за ведрами с кофе, которые принесли туда заключенные, занятые на кухне. Свежий утренний воздух и холодная вода из крана рассеивают дурные запахи мрачной бессонной ночи, теплый кофе живит застывшее тело, перспектива неизвестности и надежды захватывает мысли, вызывая некоторую любознательность и поддерживая возбуждение, радостное и тревожное одновременно. Переговариваются громко, двигаются решительно, уверяют друг друга, что ночь прошла хорошо, и тут и там друзья повторяют, что намерены не разлучаться в вагоне.

Но вот приказ выходить во двор. Начинается движение, все медленно направляются к дверям. Вдруг, не сговариваясь, люди начинают петь с увлечением и вызовом «Марсельезу» или «Братья, это только до свиданья». Так, с песней, они бодро выходят во двор, и тут песня и разговоры мгновенно смолкают. Двор набит жандармами; на другом конце, почти у входа на пространство, окаймленное колючей проволокой, стоит маленький столик, за которым располагается главный инспектор Тибода, окруженный другими инспекторами; в двух шагах от него, также окруженный инспекторами и жандармами, сидит комендант лагеря Лоран. И все инспекторы, все жандармы, и даже сам Лоран пребывают в величайшей растерянности.

Жандармы хотят, чтобы люди вели себя спокойно, это значит, что они должны идти, оставаясь неподвижными, должны отвечать, сохраняя молчание, и чтоб те, чьи имена начинаются на букву А, прошли вперед. Поскольку это невозможно, жандармы вынуждены помочь стаду. Начинается толкотня, неразбериха, работа кулаками и ногами.

Так или иначе, все с фамилиями на букву А, обеспокоенные и удивленные (в прошлый раз было не так; всегда что-то делалось не так, как в прошлый раз!), оказываются впереди, а за ними буква Б. Голова колонны располагается в пятнадцати шагах от маленького столика, и главный инспектор громко и недовольно вызывает их, одного за другим, по именам. Названный должен мгновенно ответить «здесь» и быстро подойти к столу. Там ему вручают удостоверение личности и отправляют в пространство между рядами колючей проволоки под охрану жандармов. Конец скромным проектам о путешествии в обществе друзей: ты оказываешься среди А или Б или В. Горе тому, кто не расслышал своего имени, резкий удар кулака научит его шевелиться быстрее. Горе ловчачу, который задумает в руках пронести в проволочную ограду пакет, помимо заплечного мешка и котомки с едой: пакет у него вырвут, а при малейшем сопротивлении то же самое случится с заплечным мешком. Вместе с одеялом!

А вот и Даннеккер с двумя или тремя немцами в мундирах. Всё замирает на мгновение; мосье Лоран, прихрамывая, бежит к немцам и долго жмет им руки, спина его согнута, а лицо озарено подобострастием. Инспекторы и жандармы начеку, ни одного лица за бесчисленными окнами, все тщательно закрыты. Немец осматривает товар, и делает знак продолжать процедуру

передачи. И процедура продолжается, только ещё поспешнее, ещё грубее. Колонна вне колючей проволоки становится всё короче, а колонна внутри, соответственно, удлиняется. Там людей разбивают на группы по 50 человек. Расстояние между группами шага два, и каждую охраняют два-три жандарма. Каждая такая группа — это один вагон. Запрещено переходить из группы в группу, запрещено разговаривать, запрещено ходить в туалет. От толпы, от этой тысячи людей, неподвижной, молчаливой, угрюмой, исходит скрытая враждебность, поразительное коллективное достоинство.

Даннекер исчезает, сопровождаемый свитой немцев, которая пополнилась несколькими французами. Этот его обход лагеря является непредсказуемым и всегда опасным. Толпа депортируемых провожает ироничными и ненавидящими взглядами эту длинную фигуру, с вечно трясущейся от нервного тика головой и плохо скоординированной походкой, похожей на походку пьяного. Через отверстия, через невидимые щели за той же фигурой с тревогой следят тысячи взглядов остающихся: никогда не знаешь, что может случиться. Завершив инспекторский обход, Даннекер на несколько мгновений задерживается у начала колонны депортируемых, очень любезно просит у руководства лагеря разрешения уйти и уходит. И тотчас колонна шевелится, направляется к выходу, и группа за группой люди выходят из лагеря, где их уже ждут автобусы, окруженные полицией и жандармами. Группы по пятьдесят человек быстро распахиваются по автобусам, на ступеньках размещаются двое полицейских, автобусы трогаются, делают вираж вокруг здания, проезжают вдоль внешней стороны третьего блока, минуют полицейский пост, поднимается шлагбаум, и автобусы набирают скорость на дороге на Пти-Пон. Около выезда из лагеря можно увидеть молчаливую, серьезную кучку людей, по-видимому, сочувствующих. Прохожие останавливаются при проезде автобусов, провожают их долгими взглядами, незаметно приветствуют сдержанными жестами, и, десять минут спустя, автобусы уже на вокзале в Бурже.

Даннекер ждет их там с немецким отрядом. Все быстро выходят из автобусов. Подбадриваемые непрерывными и характерными окриками немцев, награждаемые время от времени ударами прикладов и кулаков и окруженные серо-зелеными мундирами, отъезжающие направляются почти бегом («быстро!

быстро!») к вагонам для скота. Всё время теснимые охраной, люди бросаются в толчею, кажется, нарочно организованную в вагоне, который с грохотом закрывается за последним входящим. Депортация, начатая двое суток назад в Дранси, будет продолжаться ещё четыре дня, которые остались до истребления, неизбежного и немедленного для большинства, и до более медленного, более утонченного убийства для немногих. Но люди этого ещё не знают.

Так происходила депортация евреев из лагеря Дранси весной 1942 года, с некоторыми различиями в деталях.

* * *

Возбуждение, приносимое в лагерь каждой депортацией, имело множество аспектов. У каждой из лагерных служб была своя роль. Начиналось всё с бюро личного состава: составление списков с учетом, пусть приблизительным, возраста, состояния здоровья, гражданства, прошлых заслуг (ветеран, правительственные награды) или заслуг нынешних (работа в лагере). Противоречивые распоряжения французского начальства всё усложняли, и отбор становился всё труднее и труднее, по мере того, как личный состав лагеря уменьшался из-за этих самых депортаций. Всегда застигнутые врасплох, обязанные за несколько часов выполнить всю работу, служащие Бюро личного состава тяжело работали ночами и решали судьбу каждого несправедливо, с его точки зрения. Но что могло быть справедливым в операции, задача которой была отобрать тысячу людей для депортации?

Медицинская служба, тоже в спешке, получала и чаще всего отклоняла жалобы кандидатов на депортацию. Социальная служба ухитрялась проталкивать за пределы лагеря наисрочнейшие послания, чтобы добиться срочного получения документов, могущих «спасти» их обладателей; чтобы починить сломанные очки или вставные челюсти; найти немного белья, одежды и еды для тех, у кого их не было, и всё это самым первобытным способом. Служба бельевых посылок принимала для отсылки семьям сотни пакетов с вещами, которые депортируемый не мог вывезти. Экономическая часть готовила еду и дополнительные порции хлеба. Сапожная мастерская срочно приводила в порядок сотни пар обуви и время от времени ставила

vergeführt erscheint

G a l l i o t Camille

Verwahren sieh anliegenden Personalbogen, mit dem
Gegenstand der Vernehmung vertraut gemacht und zur Wahr-
heit ersucht, laut sie folgendes aus:

„ Den Davidstern habe ich mir selbst angefer-
tigt und an meine Hipse gehaftet. Es sollte dieses ein
Protest gegen die Massnahmen der Juden sein. “

Für die Richtigkeit
der Uebersetzung:

Alfred S. J.
Dolmetscher.

V. G. U.
Unterschrift im Original
gez.: Galliot Camille.

G. M. G.

M. M. M.
Stabsfeldw. der Feldgenarmrie.

Перед трибуналом предстала Камилла Гайо.
Призванная обвинением говорить суду правду, она показала следующее:
«Я изготовила звезду Давида и пришила к своей куртке в знак протеста
против антиеврейских мер»

скверную каучуковую подметку на хорошую кожаную, чтобы спрятать между ними пятисотфранковую купюру. И, в любом случае, надо было действовать быстро, и «клиенты» всегда были в сильнейшем и оправданном нервном напряжении.

Старосты блоков и их помощники служили посредниками для своих подопечных, потому что простым смертным было запрещено свободно передвигаться по двору. Это старосты блоков получали в Бюро личного состава списки депортируемых из их блока, это они становились адвокатами в соответствующих случаях, и они отдавали чинить поврежденное. Это они выполняли поручения своих подопечных в социальной службе, в службе посылок и в медицинской службе.

Для всей еврейской администрации три-четыре дня до и после отправки депортированных были нагружены тягостным и подавляющим трудом. Но все сознавали, что эти долгие месяцы чувство товарищества было крепким, депортируемые вызывали большое и всеобщее сочувствие, добрая воля на всех ступенях была очевидна. Редкие исключения бросались в глаза и создавали плохую репутацию, за которую кому-то в один прекрасный день приходилось дорого заплатить.

* * *

Между двумя депортациями существование становилось менее напряженным, хотя тревожный фон постоянно присутствовал. Хотя было много поводов верить, что каждая депортация — последняя, но угроза постоянно чувствовалась, даже самыми большими оптимистами: ощущение было вполне реальным, даже если его не признавать!

А умы всех были заняты внешними событиями, за которыми все внимательно следили. В апреле это была речь Гитлера по поводу войны в России, возвещающая близкое и решительное наступление немцев; потом это было восстановление власти Лавала (Пьер Лаваль в 1942 году становится премьер-министром правительства Виши — *прим. ред.*), затем возможная замена Ксавье Валла на Даркье Пеллепуа в Комиссариате по делам евреев. В мае это было наступление русских под Курском и первые намеки газет относительно необходимости ношения евреями желтой звезды. Все события комментировались, вплоть до мельчайших деталей, часто по-детски, почти всегда с оптимизмом,

и так как тайных читателей газет и слушателей жандармов было немного, и они плохо пересказывали услышанное, то все долго обсуждали сильно искаженные или попросту воображаемые события. Общее мнение было таково, что речь Гитлера служила удивительно ясным признанием близкого поражения Германии, что Лаваль предпочтительнее Дарлана из-за своей ловкости, находчивости и опыта работы в правительстве, и всё это было явно преувеличено. Большинство наиболее откровенно предпочитало Лаваль, потому что он по существу никогда не был антисемитом. Даркъе Пеллепуа им нравился больше, потому что «он взяточник, которого можно купить, поэтому он и согласился на это место». Противоположное утверждение, что если он даже, действительно, взяточник, то давно куплен немцами, которые сильней и богаче, чем все евреи, вместе взятые, не производило никакого впечатления. Этот, в основном, спокойный оптимизм был защитой разума от тревоги, которая иначе становилась невыносимой. Тревога существовала всегда и принимала тысячи обликов, в зависимости от темперамента, образования, умения владеть собой, и совсем немного было людей достаточно уравновешенных, с характером достаточно сильным, чтобы судить о действительности с совершенно искренним спокойствием.

События в лагере тоже вызывали живое любопытство. Здесь заключённые были ещё меньше осведомлены, и большинство сообщений начинались фразой: «Кажется, что...» или «Парень с кухни говорил одному дружку, что...» и, несмотря на скептицизм, тысячекратно подтвержденный в прошлом, все это слушали и комментировали.

В конце июня узнали, что Даннекера отстранили от обязанностей руководителя еврейскими делами во Франции. Его преемника звали Рётке. Ходили разные слухи о причинах отъезда Даннекера. Нового «хозяина» ждали с любопытством и говорили: «Ну, не может же он быть свирепее Даннекера». И в это тоже верили!

* * *

В лагере много читали. Книги приходили в бельевых посылках и ходили по рукам. Великие трагики — Корнель и Расин — были в почёте, так же, как Стендаль или Бальзак. Гораздо меньше читали Флобера, Мопассана или Золя. Большим спросом

пользовались современные серьёзные книги: «Люди доброй воли», «Семья Тибо», «Жан Баруа», «Муссон», произведения Олдоса Хаксли. «Жизнь Иисуса» Франсуа Мориака переходила из рук в руки. С удовольствием читали «Мысли» Паскаля, произведения Ренана, но Священное Писание мало кого интересовало. Книги по истории пользовались большим спросом, и запрещённая во Франции, но попавшая в лагерь книга русского историка Тарле о кампании 1812 года вызывала жгучий интерес, усиленный очарованием запретного плода. У работ, посвященных точным наукам, читателей было меньше, но, тем не менее, они находились у Жана Ростана или Марселя Болла, у красного томика Фламмарiona или у желтого из коллекции Феликса Алкана. Интересно, что полицейские романы вовсе не пользовались успехом. Видимо, смешно было читать их в пересыльном лагере.

Примечательным было и целомудрие разговоров. В лагере, среди мужчин, большинство которых было в расцвете сил, никогда не говорили о «женщинах». Говорили обычно о женах, матерях, сёстрах и невестах, но никогда о сексе. Забавные истории редко бывали непристойными, и эта особенность поразительно отличала лагерь от казармы.

Однако прозаические заботы занимали очень важное место. Господствовали заботы, связанные с едой. В лагере плохо кормили, и ценность еды превышала всякие нормы. К ней стремились упорно и настойчиво. Отсчет дней недели начинался со дня получения посылок. И причиной этому были не только материальные соображения. Для заключенного посылка, пришедшая из дома, имела неоценимую эмоциональную ценность: почерк, которым написан адрес, знакомая коробка, любимые блюда, тысячи деталей, незначительных, но таких волнующих! Нужно было сразу съесть скоропортящиеся вещи, а другие надо было есть все семь следующих дней, бережливо добавляя их к лагерной еде. Но этой добавки было все ещё недостаточно, и надо было искать способы получать посылки контрабандно или уступать соблазнам черного рынка. А если оба эти решения оказывались неосуществимыми, то люди иногда решали сохранять хотя бы хорошее настроение.

Второй важной заботой, но куда менее распространенной, была забота о табаке. Строгое запрещение курить вынудило большое количество курильщиков отказаться от своей привычки в принципе, и они смогли отказаться от неё достаточно легко.

Objekt Die Franz. Staatsangeh.

Plan n° 1

wegen Tragen des David-
sterns, obwohl sie keine
Jidin ist.

Ort Ohne.

Festgenommen

An 8. Juni 1942, gegen
11.45 Uhr, auf dem Pl.
St. Michel (N. Sen.)

Einlieferung

An 8. Juni 1942, gegen
19.15 Uhr in das Gefang-
nis „Le Santé“.

Verfahrensmittel Geständnis.

Handlungsbild.

An 8. Juni 1942, gegen 11.45 Uhr
wurde die in beiliegendem Perfor-
malbogen näher bezeichnete

Plan n° 2

während einer Durchführten Juden-
kontrolle mit einem Davidstern an-
getroffen, obwohl sie keine Jidin
ist. Derselbe war aus Papier an-
gefertigt.

Sie wurde festgenommen und in
das Gefängnis „Le Santé“ einge-
liefert.

Der von der Festgenommenen
angefertigte Davidstern ist der
Heftenseize beigelegt.

Versendung der Pinnax zur
Beute unseitig.

Mantel
Offiz. der Feldjäger.

Фельджандармерия группа 923

Предмет: Подданная Франции Плана за ношение звезды Давида, не будучи еврейкой.

Примечание: Нет.

Арестована: 8 июня 1942 в 11:45 на бульваре Сен Мишель (5).

Доставлена: 8 июня 1942 в 19:15 в тюрьму Санте.

Основание: Признание.

Протокол ареста. 8 июня 1942 при проверке евреев встретила некая Плана со звездой Давида, хотя она не является еврейкой. Звезда была изготовлена из бумаги. Она была арестована и доставлена в тюрьму Санте. Звезда, изготовленная арестованной, приложена к данному протоколу. Допрос Плана смотри на обороте.

Подписано: Мантель, унтер-офицер Фельджандармерии.

Но бесспорно, что есть немало людей, с которыми это не случится никогда, несмотря на их добрую волю, и ежедневный поиск сигареты полностью занимал многих заключенных. Естественно, раздобыть сигареты можно было только на черном рынке, цены на котором сильно колебались даже в течение дня. Временами сигарета Галуаз стоила от 10 до 30 франков, а накануне каждой депортации цены взлетали головокружительно. За один раз покупали не более 2–3 сигарет, из-за личных обысков и проверок в комнатах. Если находили сигарету, то виновный терял своё сокровище, которое жандармы выкуривали иногда прямо при нем, и подвергался допросу о происхождении запрещенных предметов. Ситуация была деликатной: считалось, что никто, включая допрашивающих, не знает, что рынок сигарет поддерживают сами жандармы, милосердные или жадные.

И, наконец, заботы по поводу общего и личного комфорта. Наряды по уборке комнат, по доставке хлеба и супа нередко создавали большие трудности для старосты комнаты. Открытое или закрытое окно вызывало часто оживленные споры с доводами о состоянии здоровья, реальном или воображаемом. Возникали споры о положении кровати относительно окна, и о симпатиях и антипатиях соседей по комнате. Несмотря на постоянно повышенную нервозность, и на часто повышенный тон этих споров, очень редко они становились реально опасными.

* * *

В начале июня 1942 года два внутренне связанных события всколыхнули лагерь. Первым было распоряжение нашить на одежду желтые звезды, в соответствии с приказом от 29 мая. Нелепость этой меры, которая требовала отличительного знака в лагере, предназначенном только для евреев, ничуть не остановила начальство. Что касается психологического эффекта, то он явно не был достигнут: заключенные, в основном, реагировали на ситуацию комически, но полицейские и жандармы не шутили и следили за точным исполнением приказа.

Во всём, что касалось семей, наоборот, ощущалась большая неопределенность: как они перенесут такое унижение? Каким опасностям подвергнет их эта мера среди людей, уже обработанных антисемитской пропагандой? Что произойдет с детьми, ещё не способными найти верную линию поведения, когда

и взрослые находили её с трудом? Большинство доверяло характеру и тонкости длительного и глубокого гражданского воспитания французов, но много было и таких, которые опасались эффекта топорной и оглушающей пропаганды и ужасного духа послушания французов, примеры которому можно было наблюдать ежедневно в самом лагере. Ответ был получен быстро и неожиданным способом.

В первые дни июня в Дранси доставили десяток юношей «арийцев», в основном, студентов, которые по-разному, часто очень остроумно и всегда отважно, старались похоронить эту меру, смеясь над ней. Позднее, уже в августе, доставили несколько женщин, схваченных ещё в июне по той же причине. Юноши содержались в лагере точно так же, как евреи, с одним исключением: поверх желтой звезды со словом ЕВРЕЙ, написанным готическим шрифтом, они должны были нашить белую ленту с надписью ДРУГ ЕВРЕЕВ. На самом деле, в поведении этих юношей не было ничего специального «проеврейского». Оно было вызвано их благородным возмущением против низкого и гнусного преследования людей, которых можно было упрекнуть только в их национальности, большей или меньшей красоте носа и в чудовищном количестве недостатков, придуманных болезненным и грязным воображением. Появление в лагере «друзей евреев» вызвало сдержанную, но огромную радость и глубокую признательность. Их всех освободили 30 августа, после трехмесячного пребывания в Дранси.

Вскоре после этого события письма, пришедшие по официальным или тайным каналам, принесли вести с воли. Они касались бесчисленных проявлений симпатии на улице, в метро, в магазинах со стороны незнакомых французов по отношению к их близким. В этот раз, без тени сомнения, выиграли оптимисты. Но, Боже мой, как редко это случалось!